



НОВАЯ ПОЛЬША 11/2002

Содержание

1. МЕЖДУ СТИХАМИ
2. КОРНЕЛЬ ФИЛИПОВИЧ
3. ЗАВТРА СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ
4. МОЛИТВА НЕВЕРУЮЩЕГО
5. СОВЕРШЕННЫЙ ПЕЙЗАЖ
6. ШАРОВАЯ МОЛНИЯ
7. ФИНАЛЬНАЯ СЦЕНА
8. СВЕТ И ЗВУК, ИЛИ О НЕСОВЕРШЕНСТВЕ МИРА
9. * * *

МЕЖДУ СТИХАМИ

Корнель Филипович (1913–1990) несомненно принадлежит к числу выдающихся польских прозаиков XX века. Он дебютировал между двумя мировыми войнами как поэт и после того, как долгие годы был сосредоточен исключительно на повествовательном искусстве, завершил свое творчество как поэт «вторым заходом» — сборником стихотворений «Скажи это слово». Проза, оказавшаяся между стихами, открывающими и замыкающими творчество писателя, предстает как многогранное исследование человеческой судьбы, запись и документация реалий польской жизни.

Он не принадлежал к числу громких писателей — может быть потому, что, как заметил один из критиков, его творчество охватывает «космос повседневности» и скорее чуждается писания историй в масштабе «макро». Конечно, мы найдем у него также описания событий, связанных с ответственностью человека в «годы безвременья», формировавшие опыт прошлого века. Он мастер кратких форм — рассказов, новелл, микроповестей. В одном из интервью он говорит: «...вопреки тому, что считают некоторые критики, и невзирая на видимость, будто я пишу психологическую прозу, я не доверяю самонаблюдению. Я убедился, что механизм внутренней жизни человека практически непознаваем. Я довольствуюсь методом сравнения: стараюсь добраться до нутра человека, учитывая связи между людьми, междулюдьми и животными, вещами, и даже между вещами и вещами».

Одна из основных задач Филиповича как писателя — проникнуть в личность героя, труд самопознания через самоопределение по отношению к обстоятельствам, в которых он находится. Главные темы этой прозы, где действие происходит вскоре после войны, — это события войны и оккупации, провинциальная жизнь, близость к природе, благодаря которой приходит понимание сути человеческого существования. Проза эта, сжатая и с виду неэффектная, ведущая свободное, неторопливое повествование, сосредоточивается на проблеме ответственности за свою и чужую судьбу, верности истинным ценностям вне зависимости от обстоятельств.

При этом здесь нет недостатка в иронической отчужденности от жизни, зачастую рассматриваемой с перспективы смерти, —

так, в одном рассказе мы читаем: «В час смерти, в последнем озарении, нам вновь была дана способность всё слышать и понимать. Дано на мгновение то, что вскоре нам станет уже не нужно». В смертный час, как и в попытке пересказать сон, мы оказываемся на грани молчания. Вот еще один афоризм, который мы находим в рассказе «Ника»: «Сон посвящен во все. но он таится. Он молчит или же пользуется одними намеками». Кстати, это единение смерти и сна — один из самых интересных тропов этой прозы. В том же рассказе мы находим еще одну сентенцию: «Сны надо, если удастся, досмотреть до конца, а жизнь — до конца дожить». Эта афористическая краткость — один из самых емких повествовательных приемов Корнеля Филиповича.

Реализм, краткость, афоризмы, инкрустированные в эту прозу, представляют, несомненно, ее наибольшую силу. Поражает также «обыкновенность» описываемых событий, их будничность. Литературное мастерство позволяет этим внешне заурядным историям — благодаря поэтическим вкраплениям в прозаическую породу, не сразу в 1-й раз различимым, — подняться до ранга притчи. Описание внешне будничных и обычных событий благодаря этому писательскому приему позволяет возводить их в обобщения, не прибегая к необычным ситуациям или повествовательной изобретательности. Внутренняя динамика этой прозы не требует иной необычности, кроме поэзии жизни и переживания, — достаточно извлечь ее, чтобы показать смысл жизни, скрытый между стихами.

КОРНЕЛЬ ФИЛИПОВИЧ

В начале 2001 года в Москве при Польском культурном центре был организован семинар переводчиков польской литературы; мне предложили его вести. Объявили конкурс, из числа претендентов — людей неопытных, но в большинстве своем, судя по предложенным на конкурс переводам, обладающих хорошим литературным вкусом, — были отобраны двенадцать человек (впоследствии число участников сократилось почти вдвое), и работа семинара началась. Мне показалось целесообразным сосредоточиться на произведениях одного автора. Оставалось выбрать писателя, который удовлетворит сразу многим разнообразным требованиям. Его проза должна быть самого высокого уровня, но при этом лишенной литературных изысков, пускай и привлекательных для переводчика; ни в коем случае не упрощенной, нелогичной и ясной, содержательной и психологически точной; ну и, конечно, стилистически безупречной. К тому же это должны были быть отдельные, желательно небольшие рассказы: каждому участнику семинара предстояло «возделывать свою полянку» — притом, что плоды его трудов будут обсуждаться на занятиях совместно. Имя автора пришло на ум мгновенно: Корнель Филипович.

Уже более десяти лет назад Филипович ушел из жизни, но и сегодня по-прежнему отчетливо ощущается его отсутствие. Как писателя, виртуоза «малой прозы», едва ли не лучшего представителя этого жанра в польской литературе второй половины XX века. Как человека высочайшей нравственности, не претендовавшего на роль Учителя, но ставшего наставником для многих — и литераторов, и нелитераторов. Без него стало пусто еще на нескольких страницах польской литературы уже минувшего столетия. Но не только. Пусто стало на старинных улицах Кракова, где до сих пор словно бы видишь высокую, очень прямую фигуру, то и дело приостанавливающуюся, чтобы раскланяться с кем-нибудь из бесчисленных знакомых. Странно пусто стало в просторной квартире на последнем этаже дома на бывшей улице Дзержинского, где самая большая комната была когда-то мастерской давно скончавшейся жены писателя, выдающейся польской художницы-авангардистки Марии Яремы — и где все оставалось таким, каким было при ее жизни: рабочий стол с папками рисунков, мольберт, картины на стенах. Где еще одну комнату занимала мать Филиповича,

пани Станислава, прожившая долгую трудную жизнь, в которую вместились скитания, сибирский лагерь, армия Андерса (военный мундир с наградами всегда висел на стене, справа от входа). И где третья комната принадлежала самому писателю: книжные полки, ковер на стене, а на нем старая сабля и пистолеты, большой письменный стол с древней пишущей машинкой и приставленный к нему под прямым углом маленький столик, за которым, напротив хозяина, так любили сидеть за чашкой чая или чего-нибудь покрепче его друзья или молодые литераторы, пришедшие за советом, или даже малознакомые люди, нуждающиеся в мудром и добром слове; на свободном от книг пространстве — картины, фотографии, набальзамированные головы собственноручно пойманных рыб; в этих чудесных декорациях бесцеремонно разгуливал черный кот, которому будет невдомек, куда девался хозяин, и о котором Вислава Шимборская напишет стихотворение «Кот в пустой квартире» (*«Ну пусть он только вернется,/ пусть только покажется./ Уж тут-то он узнает,/ что так с котом нельзя.»*).

Писателя нет, но общение с ним можно продолжить, раскрыв томик его рассказов или микророманов, или тоненькую книжечку стихов (в конце жизни Филипович снова, как в начале своей литературной деятельности, стал писать стихи — и стихи превосходные). Нам хотелось, чтобы такая возможность появилась и у нашего читателя. Нельзя сказать, что в России польского прозаика Филиповича не знают: еще в 60-е годы в СССР вышел сборник его микророманов; подборка рассказов (в моем переводе) была напечатана в 1978 году в «Иностранной литературе». Но это было давно. (В те застойные годы, впрочем, литература Польши была достойно представлена на книжном рынке — это сейчас в море выходящей у нас зарубежной литературы польские «островки» появляются неоправданно редко.) Поэтому мы решили опубликовать хотя бы часть сделанного участниками семинара. Свои страницы нам с удовольствием предоставила все та же «Иностранная литература» (2002, N 4). Сейчас, когда работа над текстами подходит к концу, мы ищем издателя, который выпустил бы полновесный сборник нашего автора. А пока предлагаем читателю «Новой Польши» стихотворение и несколько рассказов в переводах тех, для кого, хочется надеяться, работа над произведениями Корнеля Филиповича станет первым этапом на многотрудном пути «освоения» и пропаганды польской литературы.

ЗАВТРА СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ

На востоке еще продолжалась война, моего отца с нами не было. Мы жили в сером двухэтажном доме по соседству с казармами, с трех сторон окруженными кирпичной оградой, с четвертой – высоким железным забором. Мне было шесть лет, и я собирал каштаны, валявшиеся на сырой, поросшей редкой травой земле, соскребал ломкую, отстающую от кирпича штукатурку, рыл подкопы, сооружал здания и строил мосты. Потом внезапно бросал все эти занятия, чтобы проникнуть в закрытый на висячий замок сад, где в тени кустов росли огненные настурции. Эти цветы по вкусу напоминали редис, мне об этом сказал один мальчик, который потом умер от скарлатины. Я срывал и съедал цветок настурции, вдруг, чем-то обеспокоенный, настораживался: из конюшни доносилось постукивание копыт, а где-то вдалеке слышалось, как гремят колеса по брусчатой мостовой. Затем я медленно направлялся в дальний уголок парка. Там был круглый бетонный бассейн, наполненный вместо воды густым черным месивом. В бассейне не водилось ни рыб, ни даже жаб; и все же что-то противное там обитало, шевелилось – иногда, по вечерам, оно громко подавало голос. Взрослые – мама и бабушка, да и другие люди, которые появлялись в нашем доме, – говорили, что в этом пруду нет дна, и если я туда упаду, пропаду навсегда. Я боялся этого места, но не до такой степени, чтобы обходить его стороной. Можно сказать, что я ходил туда, чтобы бояться. Подобным образом дело обстояло и с одноэтажным строением, которое находилось в самом далеком и темном закутке парка. У этого серого каменного здания была низкая дверь и два узких окна, закрытых ставнями, правда, не очень плотными. Пробравшись через высокую пыльную крапиву и лопухи, приподнявшись на цыпочки и прикинув к щели в ставне, немного погодя можно было увидеть низкий длинный стол, обитый жестью, какие-то коробки и груды бумаг, перевязанных веревкой. Мои походы в это место не удавалось скрыть из-за крапивы. «Ты опять чешешься, опять был около этого морга!» – кричала мама, и мне влетало по первое число. Некоторое время я не казал носа в эту часть парка. И отправлялся в другую сторону, где мне, впрочем, тоже запрещалось появляться. Но мое пребывание там проходило незамеченным; там не было ни крапивы, ни бревен, ни грязи. Был огромный пустой двор и колодец с железным колесом. Двор окружали низкие длинные конюшни. Здесь всегда пекло

солнце и стояла страшная жара. В конюшне оставалось только несколько старых лошадей, потому что все молодые ушли на войну. Посреди двора торчала большая пушка с длинным стволом, около пушки муштровали солдат. Они были одеты в старые залатанные мундиры, от них пахло кожей и нафталином. На головах – фуражки, по лицам текли струйки пота. По приказу капрала с черными усиками солдаты бежали, замирали без движения, потом опять бежали и собирались около пушки. Потом, тоже по приказу, поднимали ее тяжелый железный хвост и поворачивали длинный ствол в другую сторону. Я долго наблюдал за солдатами и ждал, когда пушка выстрелит; ведь в мире еще продолжалась война. Но пушка не собиралась стрелять. Потом капрал объявлял перерыв и говорил, что можно курить. Солдаты бежали к колодцу, крутили железное колесо, пили много воды, лили ее себе на голову и поливали друг друга, потом закуривали сигареты. Моя мама говорила, что этим солдатам нет и шестнадцати лет, и они ругаются нехорошими словами. Я слышал, что говорили солдаты, но не повторял этого дома. Взрослые считали, что раз таких детей берут в армию, значит, война кончается. Но война, очевидно, не закончилась, потому что солдаты уехали на фронт, а во дворе появились другие, старые, очень старые, у них были усы, а у некоторых и лысины, курили они трубки. Они бегали не так быстро, как молодые и столько воды не пили. Однажды старые солдаты уехали, их сменили молодые, но другие, не те, что раньше. Остался только капрал с черными усиками и большая пушка, на которую на ночь надевали зеленую одежку.

Мой трудовой день заканчивался в сумерки, когда меня звали домой насовсем. Я же, по мере приближения этой минуты, чувствовал, что количество неотложных дел увеличивается. Я вспоминал, что сегодня еще не ходил на свалку, где можно найти пуговицы от российских и немецких мундиров, стреляные гильзы и вообще много загадочных предметов. На полпути я менял планы, потому что появлялась необходимость проведать белых кроликов с красными глазами, живших в двухъярусных клетках. В парке становилось сумрачно, по еще светлому небу, каркая, летели вороны и рассаживались на верхушках каштанов. У меня оставалось все меньше времени, поэтому прочими делами приходилось заниматься на бегу. Когда я пересекал пустой двор, из открытых окон казармы доносились звуки гармонии. Я припускал быстрее, потому что эти заунывные, протяжные звуки напоминали мне, что времени совсем мало. Я мчался изо всех сил, на бегу наклонялся, чтобы поднять с земли предметы, которые ждали меня, и засовывал их в карман. Я несея вдоль каменной ограды

и, запыхавшись, останавливался возле подкопа, сделанного под ней. Падал на землю и некоторое время лежал неподвижно. Сердце колотилось очень сильно. Я смотрел наружу и слушал. Надеюсь, что какое-нибудь происшествие изменит дальнейший ход событий этого дня. Я был уверен: что-то придет оттуда, из-за ограды. Я лежал на земле довольно долго, но все было как обычно; по тротуару стучали каблуки, по мостовой, скрипя и громыхая, ехала телега. Вдруг издали донесся голос мамы, зовущий меня домой. Я слышал его – и не слышал. Сначала он раздавался во мне, потом где-то далеко, на краю света, и замолкал. Я вскакивал и бежал дальше вдоль ограды. Останавливался под каштанами и с минуту приглядывался и прислушивался. Пахло землей, старыми мешками и крапивой. Здесь, внизу, было тихо, а высоко над головой, в кронах деревьев, ссорились вороны, хлопали крыльями и сталкивали друг друга с веток. Снова послышался голос мамы, он плутал, не мог меня найти, но был на верном пути. У меня оставался еще один шанс: спрятаться в кустах дикой сирени. Я бежал, пригнувшись, раздвигая перед собой ветки. В одном месте, около дырявого ведра, я притормаживал и дальше шел медленно, крадучись, всматриваясь в густую листву, пока на фоне неба не находил предмет, о существовании которого знал: это было птичье гнездо. Я осторожно вытягивал руку, из гнезда с шумом выпархивала маленькая лесная птичка и садилась неподалеку в развилке веток. Птица поворачивала голову и смотрела на меня. В эту минуту голос мамы прорывался через какую-то мощную преграду и достигал моего слуха. Приходилось сдаваться, убежать я уже не мог. Голос знал, где я, он меня нашел. Я возвращался домой.

Однажды, в обычное время я шел домой, смирившись со своей участью, и вдруг услышал шаги там, где никогда прежде не встречал людей. Это было недалеко от морга, мимо которого сейчас, в темноте, я шел быстро, не оборачиваясь. Я встал за деревом, посмотрел из-за ствола и увидел двух солдат, которые вели женщину. Женщина шла между ними с опущенной головой и молчала. Солдаты с женщиной прошли мимо меня, я видел их лица, перекошенные, злые. Несомненно, они вели на смерть эту женщину. Один из солдат вынул из кармана ключ и долго открывал дверь морга, говоря при этом нехорошие слова. Второй озирался по сторонам, но меня не заметил. Я хотел убежать, но ноги как будто приросли к земле, хотел закричать, но не мог открыть рта. Когда все трое вошли внутрь, мне удалось сдвинуться с места. Я опрометью кинулся домой и попытался рассказать, что видел. Я твердил, что нужно немедленно бежать, потому что солдаты могут убить женщину.

Но взрослые проявили ужасное равнодушие: бабушка вышла на кухню, а у мамы начало странно меняться выражение лица, становясь то веселым, то грустным. Знакомый офицер, который как раз был у нас в гостях, покраснел как рак и стал быстро расстегивать высокий, расшитый серебряными зигзагами воротник. Его жена, которую я терпеть не мог, велела мне идти на кухню, потому что меня зовет бабушка.

На кухне в это время бабушка готовила мне на примусе ужин, я должен был раздеваться и мыться. Примус шумел, я стоял в тазу и делал вид, что мою живот и ноги. Но внимание мое было направлено на то, что происходило за окном: там начиналось ежедневное страшное зрелище. Огромное раскаленное солнце медленно опускалось, багровея и приближаясь к плоской земле и черному лесу на горизонте. Огненный шар исчезал в тучах, сгорал, мир терял цвета, гас. Потом солнце снова появлялось под тучами, но было уже очень тонким, расплавившимся, прозрачным. Тогда на несколько минут вспыхивали деревья, крыши, окна домов и высокие железные штакетины. Начинался конец света. Солнце приближалось к черному лесу, отделявшему землю от неба, и темнота принималась поедать его, медленно, кусок за куском. Солнце исчезало, от мира оставалось только черное пепелище. Это был конец – меня охватывала страшная тоска, потом бессильное отчаяние, я начинал плакать. Но меня никто не понимал, мне только попадало от взрослых.

Однажды рано утром в нашем доме появился высокий человек со светлыми усами и загорелым лицом, как мне сказали, мой отец. Этот человек вернулся с войны, потому что война закончилась. Мне велели радоваться по поводу приезда человека, которого я даже не знал. Меня убеждали, что я должен быть счастлив и должен любить этого человека, потому что он мой отец. От меня требовали непонятных вещей. Мама и бабушка без конца повторяли, что все будет иначе, что теперь только начнется жизнь. Однако, несмотря на уверения взрослых, что теперь все будет иначе, дню возвращения моего отца предстояло снова закончиться ужасным зрелищем, может, даже еще более страшным, чем прежде.

Из-за суматохи в доме мытье и ужин отложили на более позднее время. Но мир не интересовало, что происходит в нашем доме. Я это сразу понял. Я стоял в кухне возле окна, брошенный всеми. Взрослые сидели в комнате и второй раз слушали рассказы моего отца о том, как он ел крыс и как потом болел тифом. Это было отвратительно, то, что он рассказывал, я брезговал этим человеком. Я стоял около окна и видел: ничто

не в состоянии помешать тому, что должно произойти. Солнце зашло за черные, выстланные изнутри разноцветной ватой тучи. Оно опускалось все глубже, отбрасывая желтые лучи на небо. На краю туч еще несколько мгновений продолжалась битва, но ее исход был предопределен, я это знал. Тем не менее, я хотел, чтобы у меня еще оставалась надежда; я забрался в постель, прижался щекой к подушке и закрыл глаза. Когда, минуто спустя, я встал и снова посмотрел в окно, битва уже была проиграна. Солнце еще раз выглянуло из-за черных, раскаленных по краям туч, но оно уже потерпело поражение, стало слабым, тонким, прозрачным, как стекло. Вдобавок ко всему поднялся сильный ветер, он гнул ветки каштанов и развеивал черный дым из труб. Резко стемнело. Мир уменьшался, задыхался и исчезал. Кто-то ходил по кухне, гремел, передвигал стулья. В комнате громко разговаривали. Я все слышал, но меня эти разговоры не интересовали. Вдруг за моей спиной раздался грубый голос моего отца:

– Почему он плачет?

– Он всегда плачет, когда заходит солнце. Придумал себе такую игру, – равнодушно ответила мама.

– Почему ты плачешь?

Отцу пришлось два раза повторить свой вопрос, потому что я не хотел отвечать; впрочем, я и не знал, что сказать. Через минуту я выдавил из себя:

– Потому что все кончается...

– Что кончается?

– День кончается, мир кончается, больше ничего не будет...

– Что ты говоришь, завтра снова будет день, – сказал мой отец. Его голос уже не был таким грубым и хриплым, как минуту назад.

– Нет, нет, – упрямо твердил я. Никто меня не понимал. А я не мог объяснить, в чем дело.

– Даю тебе честное слово, что завтра снова будет день, – заверил меня человек, который ел крыс. Когда я об этом вспомнил, новая волна отчаяния захлестнула мою душу.

– Посмотри, мы все ждем завтрашнего дня, – мягко сказал мой отец.

– Нет, нет, – упрямо повторял я. Меня сотрясали рыдания.
Никто меня не понимал. Ведь это мой мир кончался, мир моих
вещей, радостей и страхов – не их мир!

Перевод Ольги Чеховой

МОЛИТВА НЕВЕРУЮЩЕГО

Как-то утром перед отправкой на работу, к моему другу, с час как принимавшему больных в санчасти, гурьбой вошли заключенные и среди них немолодой уже, но выглядевший значительно старше своих, как потом оказалось, сорока девяти лет мужик. Он был из русских *староверов* и сидел за свои странные религиозные убеждения. Невзлюбившее старовера лагерное начальство не упускало случая поизмываться над ним, некоторые же заключенные, русские, относились к нему с большим уважением. Мой друг знал его только с виду. Он запомнился ему приветливым выражением лица — нет, пожалуй, это не совсем точное определение: скорее, не сходявшей с лица полуулыбкой, подобной той, по которой иногда можно угадать тяжело больного или старого зека, скрывающего под застывшей гримасой внутреннюю подавленность. Теперь он показался моему другу сильно изменившимся, исхудалым; под мышкой у него торчал засунутый санитаром градусник. Лицо серое, скукожившееся, как печеное яблоко, седая борода топорщится разлохмаченным веником, волосы мокрые от пота. Температура у старовера была не слишком высокой — тридцать восемь, но по всему было видно, что его мучает какая-то болезнь.

— Где у тебя болит? — спросил Мечислав.

Старовер с трудом разогнулся и дотронулся до живота около пупка. Санитары положили его на топчан и помогли расстегнуть и спустить штаны. Мечислав принялся осторожно прощупывать впалый живот. В районе желчного пузыря чувствительность была невелика, зато вправо вниз от пупка резко возрастала. Область аппендикса была особенно болезненна, кожа там слегка порозовела, впрочем, с болью это могло быть не связано. Мой друг, как бы спеша удалиться от места, которое с самого начала показалось ему наиболее подозрительным, прощупал желудок, селезенку, печень, толстую кишку. В ней скопилось немного газов, остальные органы были вроде бы в порядке.

— Ты завтракал?

— Нет, меня мутило.

— А вчера на ужин что-нибудь ел?

— Ничего — тошнило все время и даже вырвало.

Мой друг еще раз пощупал живот в районе аппендикса, стараясь не особенно сильно нажимать. Теперь у него была почти стопроцентная уверенность, подкрепленная каким-то внутренним чутьем, возможно, интуицией, подсказывающей, что это воспаление аппендикса. Но даже старый, умудренный опытом практикующий врач не всегда может быть уверен в точности своего диагноза. Что уж говорить о нем, который на занятиях в клинике видел всего два, от силы три случая воспаления червеобразного отростка. И раз только профессор показал, как менять повязку после такой операции, да и то, когда шов уже почти зарубцевался. И все. Так откуда взяться уверенности у него, студента третьего курса медицинского института? Без практики, без рентгена, без коллеги-врача, с которым можно было бы посоветоваться? Мечислав велел санитарам помочь староверу одеться и уложить его на койку в больничке, а сам сел за стол писать освобождения от работ тем, кому следовало остаться в бараке. Благо, их было не так много: двое с переломом руки — кости у них еще не совсем срослись, один с подозрением на воспаление легких, ну и старовер. Санитар Казюк стоял в ожидании бумаги, чтоб бежать с ней к коменданту.

— А у старовера-то что? — спросил Казюк.

— Аппендицит. Пусть пока полежит.

— Касторки ему дать да и дело с концом, — сказал Казюк.

Мечислав перестал писать и резко обернулся к санитару.

— Ради Бога, только не это! А может, дали уже?!

— Даже если б захотели — касторки нету. *Командир* всю извел на сапоги — в воскресенье собрался на диких уток охотиться, — сказал второй санитар, Михайло.

Казюк помчался со списком к коменданту и немного погодя вернулся — фамилия старообрядца из списка была вычеркнута. Мечислав вскочил и как был в белом халате со всех ног бросился к воротам. Там уже строились в колонны для выхода на зону. Комендант в окружении офицеров наблюдал за разводом и отправкой первой колонны. Подлетев к коменданту и доложившись по форме, Мечислав попросил того отойти в сторонку на два слова. Комендант, крупный, грузный мужчина, откормивший себе брюхо на допайках, за долгие часы сидения

за столом и в кабине рядом с шофером, сделал три шага вбок и сказал:

— Слушаю.

— Вы вычеркнули из списка фамилию Рыбакова.

— Верно. 38° — это не температура.

— Столько было часа два назад. Сейчас уже 38,5, — соврал Мечислав. — Он может умереть, если спустится в забой.

Еще месяц назад комендант крикнул бы: "Да и черт с ним!" — теперь же он проглотил эти слова, только на скулах у него заходили желваки.

— Что с ним?

— Пока точно не знаю. Но температура все время повышается. Может, воспаление легких, или даже воспаление мозговых оболочек, — как по нотам врал Мечислав. — Трудно сказать, во что это может вылиться. Во всяком случае, в таком состоянии он работать не может, да и транспортировать в госпиталь его нельзя. Я отвечаю за его жизнь перед вами, гражданин комендант.

Комендант подумал, что и он, комендант, теперь отвечает за жизнь этого ублюдка старообрядца. С минуту он молча стоял, глядя в глаза Мечиславу, будто раздумывая, хотя наперед знал, что ответит.

— Ладно. Подержи его у себя. Если до завтра температура не спадет, отправим в госпиталь на базу.

Мечислав вернулся и сел за стол. Он смотрел в окно на выходящие из ворот колонны и думал. Допустим, это воспаление аппендикса, тогда поездка в тряском грузовике по ухабистой дороге, где брошенные под колеса в низких топких местах доски скачут, как клавиши, — верная смерть для больного. Ну а если аппендикс лопнул, или это произойдет через пару часов, перетонит обеспечен, что тоже означает конец. Мечислав уже ознакомился с инструкцией по применению недавно полученного сульфатиазола и мгновенно подсчитал, что лекарства хватит только, чтобы вылечить одного человека от воспаления легких или не более двух от дизентерии. А от воспаления брюшины? У мыслительного процесса, предваряющего принятие быстрого решения, свои законы: он протекает скачками, а промежуточные стадии подобны прозрачным узорам на стекле, поэтому схватываешь

не отдельные элементы, а сразу все целиком. Правда, принятые таким образом решения хоть и молниеносны, но слишком часто близки к безумным. Успешность их осуществления зависит тогда только от везения, или попросту говоря от воли случая. Мечислав отвернулся от окна и крикнул:

— Казюк, Михайло!

— Да.

— Как там наш старовер?

— Плох совсем, стонет, блевать его тянет то и дело.

— Измерьте еще раз температуру. А теперь слушайте внимательно: покажете мне все, что у вас есть из хирургических инструментов. Их надо будет как следует простерилизовать.

— Чего-о?

— Про-ки-пя-тить. Поняли? Кипятить не меньше получаса. Вам ясно?

— Да.

— Потом нагрейте побольше воды для мытья рук. Ну что уставились? Действуйте!

Мечислав отпер ключиком шкафчик — новое приобретение, сработанное лагерным столяром, и убедился, что есть почти полпузырька эфира, капелька спирта, иглы и немного хирургических ниток. И еще кое-что, немыслимо ценное — кетгут.

— Казик, ну где инструменты?

Оказалось, что у больного 38,7 — температура поднималась.

Санитары занялись поисками инструментов. Долго рылись на полке, переставляли бутылочки, пузырьки. Наконец Мечислав увидел перед собой разложенные на белой клеенке инструменты: два пинцета, скальпель, хирургическую ложку и несколько зажимов. На большее он и не рассчитывал. И вдруг, похолодев, заметил, что у скальпеля, инструмента самого необходимого, отломан конец, а щербатое лезвие напоминает зубья пилы. В следующий момент он как будто услышал треск раздираемых тканей и такую боль, словно резал по живому собственное тело.

— Ну нет, я с ума сойду. Что это такое, что это такое, я вас спрашиваю?

— Небось, банку с американской тушенкой кто-нибудь открывал ...

Мечислав задумался, потом полез в карман за своим складным ножичком в жестяной оправе. Он немало за него заплатил: с четверть кило сахара, который копил целый месяц, отрывая от ежедневной пайки. Лезвие было одно, зато острое как бритва — Мечислав любил тонко заточенные карандаши. Не далее как вчера он правил ножичек на бруске, а потом на ремне. Послунявив тыльную сторону ладони, он испробовал лезвие — брило не хуже стального. Мечислав отложил в сторону щербатый скальпель, а к пинцетам и зажимам добавил свой ножичек.

— Кипятить не меньше получаса, — приказал он решительным тоном, но уже без раздражения. Криком делу не поможешь.

— Есть!

— Через час — операция. За полчаса до операции — мытье рук с мылом в горячей воде по локти. Мыться тщательно, воду поменять три раза. Все понятно?

— Так точно.

— А куда вы его положите, доктор?

— Составьте два столика, накройте чистой простыней. Ножки у столиков свяжите шпагатом, чтоб не разъехались. Все ясно?

— Угу.

— Да, вот еще что, — снова обратился он к ним. — Ты, Михайло, (ему показалось, что для выполнения этой миссии белорус или кто он там, украинец, но только не поляк Казюк, подойдет больше) беги к коменданту, скажи, доктор просит выдать лампочку помощней, не меньше сотки, только не проговорись, зачем нам понадобилась сотка, скажи, при двадцатипятисвечовой доктор ничего не видит. Ладно? Ну беги!

— Понял, — ответил Михайло без особого энтузиазма и пошел не спеша.

Часом позже старовер Рыбаков Иван Васильевич лежал на столе в чем мать родила, худой как щепка, с выступающими ребрами,

обтянутыми тонкой, словно пергамент, кожей. Он напоминал павшую лошадь, до которой вот-вот доберутся волки. Мечислав прикрыл его ноги и грудь полотенцами.

— Надо вырезать из тебя эту дрянь и выбросить, — говорил он ему, протирая спиртом правую нижнюю четверть живота.

— Делай, что хочешь, лишь бы болеть перестало.

— Больно не будет, только ты, смотри, не дернись.

Мечислав немного обождал, пока не подсохла кожа, потом вылил до капли остатки эфира на то место, где собирался делать надрез. Должно быть, это как-то обезболило кожу и принесло некоторое облегчение староверу, потому что он перестал стонать.

Отношение к религии у Мечислава было довольно поверхностным, скажем так — по-армейски формальным: "Рота — на молитву!" и "Когда займется утренняя зорька...", а вечером опять "На молитву" и "Под защиту Твою..." Он отдавал команды и сам пел вместе с другими своим сильным чистым баритоном. Этим его обязанности перед Богом, в которого он не очень-то верил, исчерпывались, и можно было считать их исполненными. Верил он только в Польшу, в ее историю и мудрость некоторых ее королей и вождей. В школе, в армии и когда был в партизанах, носил на серебряной цепочке образок Божьей Матери Ченстоховской, подаренный матерью, когда ему исполнилось семь лет. Собираясь мыться или купаться в реке, он вспоминал о его существовании и следил за тем, чтоб не потерялся. Для него это был всего лишь амулет и ничего больше. В тюрьме, разумеется, образок отобрали.

И вот теперь ему предстояло — чего он никогда прежде не делал — добаться до внутренностей человека: разрезав живую плоть, вскрыть брюшную полость. Все было готово: на табурете, прикрытом полотенцем и придвинутом к импровизированному операционному столу, лежали на тарелке простерилизованные инструменты, на другом табурете в тарелке — ватные тампоны. На полочке ждал стакан кипяченой воды с двумя растворенными в ней таблетками риванола. Мечислав свято верил в эффективность этой желтой жидкости — еще с партизанских времен ему было известно ее чудодейственное противовоспалительное и подсушивающее действие. Через минуту ему предстояло начать операцию с надреза кожи — и тут вдруг силы оставили его. Мечислав взглянул на санитаров — выражение лица у обоих было глуповатое. Они замерли в ожидании. Оцепенев от

накатившего на него страха, Мечислав внезапно почувствовал себя одиноким и беспомощным. Правая рука, казалось ему, онемела, как после сна в неудобном положении, а пальцы утратили чувствительность и будто одеревенели. И в этот момент, не находя ни в себе, ни вокруг себя ничего, что могло бы прийти ему на помощь, он начал молиться — впервые за многие годы со времени детства. Слова всплывали независимо от него откуда-то из глубин сознания и заставляли беззвучно шевелиться его губы и язык: "Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое, да пребудет Царствие Твое, да пребудет воля Твоя на небеси, яко на земли..." Была ли это молитва? Он не знал и не думал об этом. В ту минуту это было единственное, что он мог сделать для себя и для лежащего на столе человека.

Осторожно двумя пальцами оттянув тонкую, совершенно лишенную жировой прослойки кожу, он неглубоко воткнул ножик и, ведя его так, как это делают, разрезая страницы книги, сделал двенадцатисантиметровый надрез, косо сбегаящий вниз к правому паху. Крови было совсем даже немного.

— Во было бы дело, если б тут пан командир лежал, — сказал Казюк.

— Не болтать, держите пинцетами кожу и тампонируйте! — прикрикнул Мечислав.

Руками он раздвинул плоские, дряблые мышцы, идущие наискось по брюшине. Чуть подрезал ее с двух сторон и аккуратно, сдерживая дрожь в руке, добрался пальцами до скользких, округлых кишок. Они были теплыми и, казалось, дышали. Внутренности человека жили своей жизнью. Мечислав снова ощутил приступ страха, но уже не такого парализующего, как перед вскрытием брюшной полости. Так, здесь тонкая кишка, а тут — слепая, и вот он — какое счастье — аппендикс! Есть червеобразный отросток! Величиной с небольшую сливу и такой же формы, фиолетово-желтый — но целый, неразорвавшийся! Только сейчас он почувствовал, как дрожат у него руки.

— Кетгут!

— Чего это?

— Нитки, вот эти толстые!

Казюк и Михайло скорее догадались, чем поняли, о чем идет речь. Уняв дрожь в руках, он действовал теперь как в трансе,

будто выполнял чьи-то приказы. Будто какой-то таинственный гипнотизер подсказывал ему, что надо делать. Мечислав слушал его и точно исполнял все указания.

— Тампоны, тампоны! Бросайте, куда попало, только скорей!

Он перевязал отросток в самом узком месте, потом, чуть ниже слепой кишки — еще раз, и между двумя узлами полоснул ножом, отделив больной орган. Вынул отросток и осторожно положил на ватку, как будто это было нечто живое. Так, кстати, всегда поступали лесные доктора, извлекая немецкую пулю из тела раненого. Они ее не выкидывали, а клали на клочок бумажки.

— Иглу, нитки для шитья! Кожу чуть оттяните!

Зашивал он не спеша, делая довольно частые стежки. Закончив, взглянул на старовера — лицо у того было спокойное.

— Больно?

— Щипет, — тихо откликнулся старовер.

Мечислав отмыл руки от крови, вытер их, а потом занялся сердцем пациента. Оно работало. Пульс немного частил и был слабого наполнения. Водянистые, бледно-голубые глаза старовера слезились. На лбу выступили бисеринки пота.

— Молодец, — похвалил его Мечислав. Намочив марлевую салфетку в стакане с риванолом, он отжал ее и наложил на шов. Накрыв еще двумя слоями марли, закрепил лейкопластырем, стараясь не давить на брюшную полость. С правой стороны, над бедренной костью, без опасения крепко-накрепко прилепил другой конец пластыря. Он сделал все, что было в его силах.

— Скажите, доктор я помру? — чуть слышно спросил старовер.

— Нет, жить будешь, — ответил Мечислав и вытер ему лоб полотенцем. — Да, на всякий случай, пока не давайте ему ничего пить. Пусть немного потерпит. Вы поняли?

— Так точно!

Мечислав опустил на табурет, свернул самокрутку и закурил. О чем он теперь думал? О том, что если старовер умрет, то его, Мечислава Владиславовича, отправят обратно в забой, а то и добавят еще десятку, хотя по их меркам жизнь старовера Рыбакова ничего не стоила. Но, может, все-таки не умрет? Инфекция, конечно, попала в кишки и в брюшную полость, тут

уж ничего не поделаешь. Впрочем, человеческий организм все время имеет дело с бактериями — с небольшим количеством, но все же, и — даже такой изношенный — как-то справляется. Иммунная система этого человека, хотя старовер и вкалывал в забое уже не меньше пятнадцати лет, худо бедно, но защищала его. Организму надо помочь, а в его, "доктора", распоряжении не было никаких сердечных препаратов. Может, в лагере найдется немного кофе? Да, кофе, наверняка найдется, ведь у прооперированного Рыбакова здесь есть единоверцы, они постараются достать. Заварить кофе и давать ему по пол-ложки каждый час. Но что там кофеин, чепуха — здесь необходимы вливания глюкозы, уколы, дигиталис, да хоть бы кордиамин в каплях. А у него ничего, ничего, ничего не было. Лечение самого главного мотора жизни, видно, внутренним распорядком не предусмотрено.

— Что с вами, доктор? — услышал он чей-то голос и очнулся. Он сидел согнувшись, чуть ли не касаясь головой колен, уставившись неподвижным взглядом на сигарку, которая выпала у него из пальцев и погасла. Пол был чисто выметен, испачканные кровью тампоны уже на нем не валялись. Только этот окурок, слишком ценный, чтоб выкинуть его в помойку. Мечислав выпрямился и огляделся по сторонам. Старовер, по шее прикрытый простыней, лежал на столе и, повернув набок голову, смотрел на Мечислава. Его глаза глядели теперь живей, и цвет их вроде бы стал голубее. Казюка не было. Михайло сидел на табурете — на фоне ослепительно белой стены, и тоже на него смотрел.

— Все нормально. Просто я задремал.

— Вы, доктор, не завтракали. Поешьте, еда на печке стоит, еще теплая, наверно.

— А сколько же времени?

— Да уж скоро обед, — ответил Михайло.

— Крикни Казюка, перенесем его осторожно на кровать.

— Казюк пошел за обедом.

— Ладно. Как придет — сразу перенесем.

На следующее утро, до отправки на работу, Мечислав докладывал, что заключенный Иван Васильевич Рыбаков, номер такой-то, не сможет выйти за ворота, потому что находится в санчасти.

— Что с ним? — спросил комендант.

— Лежит после операции. Поправляется.

— Как? После какой операции?

— Аппендицита.

— Что-о? — взревел комендант. — В лагере запрещено делать операции! Под суд пойдете!

— Гражданин начальник, требовалась срочная операция. Во время перевозки аппендикс мог лопнуть, гной разлился бы в брюшную полость — и конец.

Комендант побагровел. Раздулся так, что, казалось, ремень на его брюхе вот-вот лопнет. Но у коменданта было две души почти одинаковой величины, хотя нет — одна из них должна была быть чуть поменьше, потому что одна входила в другую на манер русской матрешки. Одна душа коменданта была переполнена страхом, другая гордыней. Трусость помогала ему подобающим образом строить взаимоотношения с начальством, а гордыня — с подчиненными. Наверняка у него имелись в запасе еще пара-тройка душонок, одна другой меньше и глубже запрятанных, может, даже и некое подобие патриотизма, который был не чем иным, как русским шовинизмом. Возможно, на самом доньшке скрывалась еще одна, уж точно последняя и никогда не подававшая голоса душонка, сохранившая какие-то человеческие чувства, допустим — сострадание. Хотя сомнительно. Если он и добивал подстреленную на охоте дичь, то не потому, что хотел облегчить ее страдания, а просто для того, чтоб перестала шевелиться. Еще год назад, ба, да всего полгода, о том, что произошло, и речь не могла идти. В лагере не было врача, и старовер Рыбаков наверняка бы уже окочурился и лежал себе тихо-мирно в земле, и ему, командиру — меньше хлопот. А теперь надо что-то решать. Последнее слово за ним. И хотя старовер в глазах коменданта значил не больше, чем прихлопнутая на стекле муха или раздавленный на тропинке муравей, заговорившая в нем гордыня требовала, чтоб он рискнул. Ведь не кто иной, как он, комендант, назначил в санчасть врачом этого сукина сына поляка, который в последний момент спас жизнь русскому зеку Рыбакову. Врач-поляк подошел к делу неформально? Просто он не настолько хорошо знает русский язык, мог и не понять инструкции. В конечном счете, так ли уж велика разница между операцией и — как сказано в инструкции — "необходимым незначительным хирургическим вмешательством", то есть

таким, к примеру, как вскрытие чирья на заднице? Долго стоял не отзываясь комендант, глядя куда-то в сторону — на бараки, а не на Мечислава. Потом медленно повернул голову и уставился на открывавшиеся как раз ворота. Долго это длилось, очень долго, может, две или целых три минуты. Казалось даже, что комендант задумался о чем-то своем. Наконец Мечислав услышал его голос: он звучал официально, но тон был спокойным, даже равнодушным, будто ничего не произошло.

— Так, как вы говорите, фамилия больного?

— Иван Васильевич Рыбаков, номер 4878.

— Понятно. Ну пусть он у вас там полежит.

— Есть!

— А вы возвращайтесь к своим обязанностям.

— Есть, — ответил Мечислав.

Повернулся кругом и медленно побрел в сторону своей больнички. Тусклое серое небо сыпало снежной крупой, которая предвещала скорый приход очередной зимы. И кто знает — скольких еще зим. И все же у моего друга был повод для лучшего, чем обычно, настроения. У него было такое чувство, будто во имя добра ему удалось одержать победу над злом. Какая победа над злом? Что я плету? Вряд ли ему приходили в голову столь возвышенные мысли. Это пахло бы литературщиной. Просто он выполнил свой долг как умел и подумать мог только одно: удалось выиграть схватку за жизнь человека. Вот, пожалуй, и все. Но Мечислав наверняка не отдавал себе отчета в том, что его поступок — нечто большее, чем просто бескорыстная помощь одного человека другому, что поступок этот гораздо чище и благородней многих других добрых поступков, поскольку совершен вдалеке от родной страны, от дома и друзей. словно бы на борту затерявшегося в океанских просторах корабля, который, быть может, обречен и вскоре вместе со всей командой пойдет ко дну. И под высоким небом, в тысячах милях от берега не спасется ни один человек, который мог бы рассказать об этом людям.

Перевод Ирины Подчищаевой

Корнель Филипович

СОВЕРШЕННЫЙ ПЕЙЗАЖ

*Мир и без меня
пребудет,*

*неспешный и
безучастный*

Юлиан Пшибось, «Уравнение сердца»

Солнце стояло уже низко, близился вечер. Утром мы собирались покинуть здешние места. Приехали мы месяц назад. Идея принадлежала одному из наших друзей, которому случилось как-то сюда забрести. Он с восторгом рассказывал, что в жизни не видел ничего подобного, и сожалел, что смог задержаться только на час; он охотно остался бы там на целый месяц или даже навсегда. Он говорил: «Есть такие пейзажи на свете, которые помнишь до конца жизни. В них царит мир и гармония, и кажется, нет ничего случайного, все элементы подобраны и скомпонованы кем-то, кто хорошо знал, чего хочет, все замечал, ничего не пропустил, обо всем помнил». Но наш друг подразумевал не Бога; он считал, что необычность этого места обусловлена игрой случая: «Природой правит слепой рок, но иногда бывает, что разнонаправленные и находящиеся в вечном противоборстве силы природы в самый неожиданный момент и в неожиданном месте вдруг достигают состояния равновесия. Борьба тогда прекращается, процесс уничтожения приостанавливается, и в результате этого перемирия рождается удивительная гармония и совершенство ландшафта».

И вот наступил день, когда приятель привез нас сюда на машине. К сожалению, он и на этот раз не смог остаться, но пообещал приехать за нами через месяц. Перед тем, как нас покинуть, он посидел немного в машине, открыв дверцы. Смотрел на деревья и слушал пение птиц. Наш друг – директор солидного учреждения и человек очень обязательный. В тот же день он должен был присутствовать на какой-то важной конференции и поэтому, улыбнувшись нам, захлопнул дверцы и завел мотор. Мы остались одни и принялись устраивать лагерь: разбивать палатки и доставать из рюкзаков и мешков все, что нам было нужно для здешней жизни. Только после обеда выкроили время, чтобы осмотреть место, где мы остановились и где нам предстояло пробыть целых тридцать

дней. Итак, мы совершили первую ознакомительную экскурсию. Началась она неподалеку от лагеря, оттуда, где высокий, как бы вырезанный ножом берег реки образовывал большой полукруг – дальше в нем появлялись зазубрины, заканчивавшиеся длинным, вонзающимся в воду зубом. Потом берег с пологим пляжем долго, словно желая отдохнуть, тянулся плавной дугой; казалось, так будет до самого конца – ничто не предвещало перемен. Река текла спокойно, бесшумно омывая неподвижный берег, пока мы не заметили вдруг камень, погруженный до половины в воду. Неприметный, он, казалось, не имел ничего общего с берегом – но за поворотом из воды торчал второй камень, потом третий, а чуть дальше – огромный гранитный валун, окруженный множеством более мелких, разбитых и раскрошившихся. С этого места береговая линия, прежде ровная и плавная, начинала рваться, лохматиться, распадаться. Река вгрызалась в сушу, терзала ее, выдалбливала ямы, глотала песок, уносила с собой камни, чтобы через сто метров выбросить их обратно. Земля была изрыта, будто артиллерийскими снарядами, и покрыта искореженными останками деревьев. Мы подумали, что дальше идти будет все труднее, еще немного – и берег станет совсем непроходимым, придется отказаться от продолжения похода и вернуться назад. Но уже через несколько шагов убедились: то, что показалось нам распадом и уничтожением, было началом нового порядка. Берег поднимался и выравнивался. Валуны – продукты его распада – теперь складывались в подобие опорной стены, защищая сушу от уничтожения. У земли в борьбе с рекой появились новые могущественные союзники – деревья. Их мощные корни крепко врастали в грунт, упрочивая его под нашими ногами. Мы снова могли безопасно и легко передвигаться по твердой земле. Итак, мы продолжали идти вдоль берега, а поскольку никогда раньше здесь не были, все казалось нам в новинку. Каждая мелочь, каждый камешек или веточка были сюрпризом. Элементы пейзажа рассыпались на наших глазах и складывались снова, как в калейдоскопе. Они меняли свое положение, форму, назначение. Помогали каким-то таинственным, неведомым нам силам, чтобы спустя мгновение обратиться в их врагов. Мы не знали ни побудительных мотивов, ни целей этих сил. Впрочем, и не задумывались об этом. Так, не спеша, обошли мы наши владения (они оказались вытянутым в длину полуостровом), увидели их границы и очутились недалеко от места, откуда начали путь и где разбили свой лагерь.

Я начал рассказ с описания контуров нашего полуострова, мне казалось, это необходимо, чтобы читатель мог легче и

нагляднее представить себе его форму. Но описание – занятие неблагодарное, чтобы не сказать бессмысленное. Ведь его суть в перечислении, не более того. Разве можно добиться, чтобы читатель сумел увидеть одновременно и начало и конец дороги, по которой мы шли? Чтобы мог увидеть, как видел наш глаз, одновременно то, что близко – и далеко? К сожалению, это никому не под силу. Значит, остается одно: двигаться дальше со скоростью пешехода и смотреть близоруким взглядом. Вот как выглядел наш полуостров: он порос редким дубовым лесом, но кое-где деревья стояли так тесно, что их кроны смыкались над нашими головами и покрывали землю глубокой прохладной тенью. Когда из солнечного пекла мы попадали под эту сумрачную, темно-зеленую, густо сплетенную из веток и листьев крышу – холодный воздух охватывал нас со всех сторон, будто мы погружались в воду, почти ощущая вспотевшей кожей ее леденящее прикосновение. Даже горячий южный ветер, на открытых местах обжигающий, пылуший, словно печь, жаром здесь, среди деревьев, ослабевал и приносил прохладу и свежесть. Кто-то из нас заметил: «Ни одна палатка так не защищает от солнца, как крона дуба, ведь ткань палатки дает тень одинарную, а завеса из листьев дуба – стократную». Тень от дубов была хотя и очень густой, но все же не абсолютной. В течение дня бывали минуты, обычно ближе к вечеру, когда в кровле из листьев открывались маленькие окошки. Солнце усеивало землю переливающимися и дрожащими пятнами света, которые жили всего мгновение, а потом внезапно гасли, и тогда земля под кронами погружалась в еще более глубокий сумрак и холод. Кроме дубов, здесь росли и другие деревья: березы, тополя, сосны, но в небольшом количестве, словно только ради полноты и законченности пейзажа. И две одинокие осины затесались сюда будто лишь для того, чтобы доказать нам: как не бывает абсолютной тени, так нет и абсолютной тишины. Мелкие, подвешенные на тоненьких черенках листочки осины отзывались на малейшее дуновение ветра, предугадывали его, а после того, как ветер утихал, еще долго, дрожа и шумя, о нем вспоминали.

Мне бы очень хотелось, чтобы те, кто будет читать описание этого пейзажа, не представляли себе его как нечто плоское, ограниченное двумя измерениями. Это не картина, здесь есть объем, позволяющий проникнуть внутрь, ходить, двигаться среди постоянно меняющихся видов. Каждый шаг открывал нам какой-то новый путь, каждый взгляд – новую, еще не виданную композицию. Мы ходили туда-сюда, останавливались, наклонялись и выпрямлялись, ложились и вставали – и все это сопровождалось изменениями пейзажа.

Плавными, незаметными, бесшумными, никогда не повторяющими того, что мы уже видели. Все, что мы видели вокруг, не зависело от нас – ни от наших глаз, ни от нашей воли, ведь даже когда мы были заняты делом: ловили рыбу, носили воду, собирали хворост, – мы все равно боковым зрением замечали, как вокруг беспрерывно меняются декорации, как любое движение, поворот тела, даже жест приводит в движение и окружающий пейзаж. Но мы прекрасно понимали, что эта изменчивость и разнообразие – только иллюзия, ведь в действительности не дрогнул ни один камень и ни на сантиметр не переместился ни один ствол. Мир вокруг был завершенным, замкнутым и идеально неподвижным.

Наш приятель был прав, называя это место необычайным (по-видимому, он также хотел сказать, что оно прекрасно). Однако в чем заключалась эта необычайность, он не объяснил. Я пытался это сделать, но, кажется, безуспешно. Может, я сказал слишком мало или – что еще хуже – слишком много? Возможно, я излишне сосредоточился на деталях. Еще добавлю: в красоте этого места было нечто невыразимо тревожное, отчего уже через несколько дней мы стали испытывать такое напряжение, словно нам грозила опасность. Откуда это шло? Может, именно от совершенной красоты ландшафта? Настолько совершенной, что, казалось, она может прожить лишь мгновение, и сразу что-то непременно произойдет. Что через секунду начнется землетрясение, разразится ужасная гроза, случится наводнение, и все будет уничтожено, повалено, смыто с лица земли! Но все оставалось прежним, а тревога не отступала, и в этом постоянном скрытом ожидании проходили дни и недели. А может, ландшафт был здесь ни при чем, может, источник беспокойства был в нас самих, в наших мыслях, чувствах, настроениях? В наших амбициях, воспоминаниях, разговорах, о которых я не упомянул, поскольку мне казалось, что они не имеют ничего общего с окружающим нас пейзажем?

Приближался вечер, кончался день. Тускнел свет, гасли краски, вода в реке темнела и сгущалась, как бы поглощая цвет деревьев, травы, камней. Казалось, что ее течение постепенно замедляется, вода уходит куда-то вглубь, и от реки остается только темный, глухой, зияющий пустотой и холодом яр. Мы довольно долго жгли костер, пока не иссяк запас дров и огонь не погас. На землю спустилась ночь. Еще недолгое время мы слышали какие-то голоса, хлопанье крыльев птиц, устраивающихся на ночлег на ветках деревьев, и тихий шелест тополиных листьев, но вскоре все смолкло.

Рано утром мы свернули лагерь и стали ждать нашего друга, поглядывая в ту сторону, откуда он должен был приехать. В условленное время показался его синий автомобиль, который медленно приближался, мелькая между деревьев. Спустя час мы покидали место, которое наш приятель называл самым необыкновенным из всех, что видел в жизни, а мы – мы оставляли его без сожаления. Устав от его красоты и совершенства, мы с облегчением думали о возвращении домой, в привычную обстановку, к своим вещам, к своей работе. Когда все уже сидели в машине, приятель сказал:

– Счастливые – смогли тут пожить. Завидую вам.

Перевод Марины Курганской

ШАРОВАЯ МОЛНИЯ

Раздался резкий короткий треск. Такой звук, будто в воздухе, прямо рядом с нашим окном, сломалась сухая ветка. Было воскресенье, мы обедали. Окно открыто, на подоконнике сидит наш большой серый кот. Погода непонятная – вроде бы собирается дождь, но светит солнце. Ветра не было, деревья стояли неподвижные, только мелкие серебристые листья осины дрожали, ловили легкий ветерок, которого другие деревья не чувствовали. Когда раздался этот треск, кот спрыгнул с подоконника и застыл у стены, перепуганный и удивленный. Я как раз смотрел на кота. Можно было подумать, он уже знал секундой раньше, что произойдет: ведь когда затрещало, кот был уже на полу. Все повернули головы и посмотрели в окно. Но на улице было тихо.

– Что это было? – спросила мама.

– Шаровая молния, – ответил отец.

Я встал из-за стола и подошел к окну. Хотя светило солнце, было как-то мрачно. Напротив, на маленькой лужайке, поросшей пыльной травой, стояла белая коза. Она была привязана к колышку, но не паслась, просто стояла неподвижно и тяжело дышала, поводя большим, обвислым брюхом. Я высунулся в окно и посмотрел вверх по улице; там было светло, как будто солнце только еще всходило. Отчетливо виднелись растрескавшиеся плиты тротуара, бурые кучки лошадиного навоза на мостовой и островки травы вдоль бордюра. Над воротами котельщика Сантария висел на трех цепях черный железный котел. Потом я посмотрел вниз по улице; там было темно, как будто уже вечер. Улица была пустынна, только от ресторации Польдера шел сержант из военного оркестра. Его фамилия была Мазурек, он был очень толстый, и жена у него тоже была толстая. Они медленно шли вверх. Мазурек держал в руке фуражку, его жена несла большую черную сумку. Шли они врозь, как будто поссорились.

– Возвращайся за стол! – строго сказала бабушка.

Я сел за стол и начал есть бульон. Отец смотрел в окно. Бабушка сказала, что, когда была маленькой, видела уже такую молнию. Тогда тоже было воскресенье, и после обеда все вышли из дома полюбоваться на розы, которые расцвели в ту ночь. Бабушка

помнила, что еще были ее братья и маленькая сестренка, которую мама держала на руках. И две собаки, они лежали на траве и тяжело дышали, потому что было очень жарко. Отец – значит, мой прадед – как раз закурил сигару, и тут вдруг как грохнет! – и в воздухе взорвался большой светящийся шар. Все это видели и слышали, но ни с кем ничего дурного не случилось. Только на второй или на третий день нашли в лесу убитого человека. Поначалу никто не знал, кто это такой, даже отец ходил на него смотреть, а потом одна старая женщина сообразила, что человек – здешний, деревенский, он возвращался домой через двадцать с лишним лет. Служил в армии, мотался по свету – и все для того, чтобы найти смерть на родной земле.

– Не вижу никакой связи с шаровой молнией, – сказал мой отец.

– Кто знает... В мире столько удивительного, – заметила мама.

Взрослые спорили, связаны эти вещи между собой или нет; отец считал, что из-за таких странных событий лучше запоминаются и другие, случившиеся одновременно. После обеда я долго стоял у окна и высматривал что-нибудь необычное. Но ничего не происходило. Я видел, как знакомый мальчик по имени Рудольф, в голубой рубашке, зеленых брюках и новых желтых ботинках, быстро перебежал улицу, отвязал козу и помчался с ней домой. Он всегда так делал в это время. Потом я увидел идущего вниз по улице человека, который не умел говорить. В будни этот человек подметал улицу; сейчас он был в черном костюме, на голове черная шляпа. А еще я увидел, как идет знакомый подмастерье столяра, он давал мне задаром обрезки досок для игры. Сейчас подмастерье был пьян, шел, опустив голову, а у велосипеда, который он катил, было перевернуто седло, и велосипед выделял всякие выкрутасы. Все как обычно в воскресный день.

Мне наскучило смотреть в окно; впрочем, вскоре пришел мой школьный друг, и мы до самого вечера играли в солдатики.

Я уже лежал в постели и засыпал, когда услышал, как бабушка кричит, чтобы закрывали все окна, потому что поднимается страшный ветер. Потом засверкало. Я лежал с открытыми глазами и ждал, когда сверкнет, чтобы на миг увидеть ярко освещенную комнату, стол, покрытый клетчатой клеенкой, серебряную сахарницу посередине стола, пустые стулья, на стене – маленькую картину в овальной рамке, которую нарисовала сестра моего отца. Еще я видел сквозь приоткрытую дверь кровать, на которой спал отец, и даже его черные

ботинки, стоящие под кроватью. Но тут же снова становилось темно, и несколько секунд я, даже широко раскрыв глаза, ничегошеньки не видел, словно все переставало существовать, а я – один на дне пропасти.

Утром я проснулся и удивился, что никто не велит мне вставать и идти в школу. Неужели еще так рано? В комнате светло, я отлично выспался, из кухни слышны голоса и звяканье посуды. Станным был только шум, доносившийся вроде бы с чердака. Я вскочил с кровати и подбежал к окну: на улице шел дождь. Трудно сказать «шел», потому что такого дождя я еще никогда не видел. С неба на землю текли без продыху тонкие частые струи воды. Вниз по улице бежала мутная пенная река, прокладывая глубокие борозды в гравии. Плиты тротуара уже вымыты дочиста, но их непрерывно поливало водой. Кирпичная ограда и трава – такие яркие, словно их только что покрасили. Я стоял и смотрел, и мне казалось, я вижу совсем не то, что видел в окно еще вчера. И вдруг я заметил нечто небывалое: высокое дерево, которое всегда, с тех пор как я сюда приехал, стояло прямехонько, лежало на земле, вырванное с корнем. Ствол, падая, задел забор и проломил его; огромная гора листьев высилась на чужих грядках, прикрывала чью-то беседку. Я побежал в кухню рассказать про это маме и бабушке, и там узнал, что сейчас девять часов и что я не пошел в школу, так как отец сказал, что льет как из ведра и подобное случается раз в пять лет.

С неба лило с короткими перерывами еще два дня, а на третий день после полудня разъяснилось. На улице появились люди. Они шли быстрым шагом; встречаясь, раскланивались и здоровались за руку, словно увиделись после долгой разлуки. В тот день мне недосуг было бежать к реке, потому что в нашем подвале случился потоп. Отец стоял на лестнице со свечой, а я в отцовских сапогах бродил по воде, вылавливал разные утонувшие вещи и подавал отцу. Потом я успел еще сбегать на площадь перед церковью. Уже стемнело, около мрачной протестантской церкви дул холодный ветер, но дальше, между деревьев, было спокойно. На земле лежали толстые сучья, сбитые ветром. На изломе древесины была белая, как кость, и светилась в темноте. Черные, покрытые шершавой корой ветви лежали среди листьев на каменных плитах. Было тихо, пахло мхом и известкой. Наверху, на макушках деревьев, перекликались дрозды. Я хотел выследить, где они сидят, но не смог отыскать ни одной птицы. Между кронами проглядывало прозрачное, как стекло, небо. Из дома пастора неслись тоскливые, дребезжащие звуки фисгармонии.

* * *

Следующие два дня мы почти не учились, все говорили о ливне и наводнении, учителя делились воспоминаниями, мы приводили в порядок школьный сад. После занятий бежали к реке, которая с ревом несла доски, ветви и даже целые деревья, вырванные с корнем. Мутная, покрытая белой пеной вода перехлестывала в нескольких местах через дорогу и растекалась по огородам. На мосту стояли солдаты и баграми отпихивали деревья, зацепившиеся за каменные опоры. Стволы покачивались, не хотели отцепляться, потом течение подхватывало их и утягивало, как щепочки, под воду. Они выныривали далеко за мостом, подпрыгивали, переворачивались, показывая то черные корни, то зеленые листья. Потом, успокоившись, плыли дальше и исчезали за поворотом реки.

Позже вода в реке начала быстро опадать и туда уже незачем стало ходить, тем более что вода, отступая, оставила на берегу вязкую, топкую грязь. Зато, возвращаясь из школы, я мог понаблюдать за пожарниками, откачивавшими воду из затопленных подвалов. Красная пожарная линейка с насосом и бензиновым мотором стояла на нашей улице. Один конец толстой трубы входил через окно в подвал, из другого конца выбулькивала желтая вода. Возле мотора стоял пожарник и курил трубку. Мотор работал без перерыва, грязная вода текла по сточной канаве и уходила в забраный решеткой сток.

Когда это началось, пожарная линейка стояла как раз рядом с угловым домом, в котором была ресторация Польдера, и откачивала воду из его подвала. Из подвала пахло вином, из окна квартиры Польдеров выглядывал младший Польдер. Он был мой ровесник, но учился на класс старше. Подперев голову руками, он смотрел на мотор. Я уже собирался идти домой, поскольку ничего любопытного не происходило, когда вдруг кто-то сказал, что, должно быть, труба засорилась, потому как вода не идет. Пожарный остановил мотор и пошел посмотреть в подвал. Он не возвращался очень долго, я решил, что, наверное, что-то сломалось, и пошел домой обедать. Потом я делал уроки и только вечером узнал от ребят, что случилось.

Оказывается, труба забилась, и пожарнику пришлось надеть высокие резиновые сапоги и лезть в воду. И тогда он обнаружил того младенчика, который заткнул трубу. Младенчик был голый, совсем крошечный и уже протухший – как говорили ребята. Пришли полицейские и тайный агент Грабовский, собралось много народу, все начали строить догадки, откуда в подвале Польдеров мог взяться мертвый ребенок. Тут кто-то и

сказал, что евреи похищают младенцев на мацу; кладут живого ребенка в бочку, утыканную изнутри гвоздями, и катают бочку, и таким вот образом выпускают из ребеночка кровь, а потом на этой крови пекут мацу.

Я очень удивился, когда это услышал, потому что не знал, что Польдеры – евреи. У Польдера не было ни пейсов, ни бороды, он не ходил в халате и не носил ермолку, как те евреи, которых я помнил, в наших краях – хотя, правда, в субботу вечером Польдеры не зажигали электричества, только свечи, и над белыми занавесками на окнах двигались по стенам таинственные тени.

Мы всем скопом побежали к ресторации Польдера. Дверь была заперта, стекла в окнах квартиры Польдеров выбиты; острые осколки еще торчали в оконных рамах. Внутри было темно и пусто, как будто там никто не живет. На тротуаре стоял толстый полицейский и беседовал с военным жандармом. Мы хотели заглянуть в открытое черное подвальное оконце, но полицейский закричал: «Чего вам? Чего?! Марш отсюда!» – и мы убежали. Пришел один мальчик, который, как и я, приехал недавно с востока, и сказал, что стекла выбили студенты Сельскохозяйственной академии и какие-то солдаты, потому что полицейский не хотел их пускать внутрь. Мы узнали, что и в синагоге тоже повыбивали стекла и что студенты хотели расколотить окна еще и у пастора за то, что тот защищал Польдера и говорил, чтобы протестанты не лезли не в свое дело.

Мы побежали на другой конец города, к синагоге, посмотреть на разбитые окна. Потом вернулись к дому Польдеров. В квартире по-прежнему было темно, у дверей стоял полицейский и разговаривал с каким-то гражданским. Тогда мы пошли в парк и залезли на дерево, у которого ветви росли очень низко. Стемнело. Из дома пастора доносились звуки фисгармонии, на деревьях перекликались дрозды и скворцы, но все реже. Только один скворец верещал без умолку и очень странно: как будто кто-то точил нож на мокром вращающемся точильном камне. Мы сидели на ветках, как птицы, а мальчик, который недавно приехал с востока, рассказывал, как евреи мучают христианских младенцев, и говорил, что все это описано в их книгах, но такими буквами, что только евреи и могут прочесть. Но один человек, знакомый его отца, научился читать эти буквы и все рассказал. Потом один мальчик постарше стал рассказывать про свою сестру, что у нее уже начались месячные, и говорил всякие разные вещи, которые я плохо понимал.

Уже совсем стемнело, когда я услышал, что меня зовет отец. Он шел по парку и время от времени громко хлопал в ладоши. Деревья отражали эхо, и хлопки было слышно очень отчетливо, но я притворился, что не слышу. И только когда отец отошел довольно далеко, откликнулся.

За ужином я стал рассказывать о младенчике в подвале Польдеров. Отец пил чай и читал газету. Когда я дошел до того места, как евреи похищают христианских младенцев на мацу, отец заметил, не прерывая чтения:

- Не говори глупостей.
- Почему? Все так говорят.
- Потому что дураки, – ответил отец, не глядя на меня.
- И все-таки, что-то там должно было быть. Нет дыма без огня, – сказала бабушка.
- Прекратите, меня, честное слово, тошнить начинает, когда я такое слышу.
- Когда я была маленькая, я очень часто слыхала о таких вещах, – сказала бабушка.
- Это только мы, дикие люди с востока, способны выдумывать такие истории, – сказал отец и зевнул.

На второй, то ли на третий день отец сказал за обедом, что слышал от знакомого судьи, будто ребенок был прислуги Польдеров, а отец – один солдат. Прислуга эта удушила младенца и закопала в подвале, а потом сбежала в деревню. Как раз сегодня ее арестовали и привезли в тюрьму. Но она не хочет признаваться в том, что сотворила с младенцем. А солдат служит здесь, в полку, и ему совсем недолго осталось до гражданки. Но его скорее всего ждет не гражданка, а тюрьма, потому что, вроде как, это он уговорил девушку избавиться от ребенка.

Мама хмыкнула и спросила отца, зачем он рассказывает при мне такие вещи. А я между тем нисколько не верил тому, что говорил отец. То, что рассказывали ребята про младенцев в бочке с гвоздями, было куда как интереснее; это было загадочно и пугающе. Впрочем, ребята рассказывали и другие интересные вещи, которые взрослые от меня скрывали. Их истории были необычные, но наверняка правдивые; я это чувствовал, и мои наблюдения это подтверждали. Так, конечно, было и с евреями, только отец не хотел открыто сказать. И вел себя

подозрительно: делал вид, будто ему скучны разговоры на эту тему. Он поглядел на меня, снова зевнул, взял газету и ушел к себе в комнату.

Я стоял у окна и смотрел на улицу: было пусто, дома отбрасывали тень на тротуар. Ветра не было. Деревья стояли спокойно, даже на осине не дрожали листья. На лужайке паслась белая коза.

Перевод Елены Барзовой и Гаяне Мурадян

ФИНАЛЬНАЯ СЦЕНА

Сегодня свежее и ясное утро, я стою в очереди в кассу зоопарка, одного из старейших и самых больших в Европе. Передо мной – японцы в очках в серебряной оправе, молчаливые, вежливые и сосредоточенные; туристы из Индии – смуглые и стройные, как тростник, женщины и мужчины в белых пилотках; какие-то увешанные фотоаппаратами англичане и американцы. Я покупаю входной с прилагающимися к нему за дополнительную плату билетами на посещение аквариума, террариума и нового павильона с обезьянами, а также красочный проспект с планом, который поможет мне сориентироваться в зоопарке. Сажусь на скамейку, мимо проходят те, что стояли в очереди за мной. Французы, негры, арабы. Откуда-то из глубины зоопарка, из зарослей доносится рычание львов и птичьи голоса. Погода солнечная, но переменчивая. По небу плывут небольшие облака, то и дело заслоняющие солнце. Колорит зелени меняется: на траву ложатся тени, они то густеют, то светлеют. В зеленой траве огоньками вспыхивают и гаснут цветы. Я изучаю план зоопарка, обдумываю маршрут и радуюсь, что через минуту увижу знакомого льва, который, может, сообразовит повернуть голову и удостоить меня взглядом, буду долго стоять и любоваться гибким, блестящим от воды телом тюленя и его невероятно ловкими движениями. Увижу орла и черепаху. И неподвижного, словно отлитого из бронзы и покрытого вековой патиной, крокодила.

Подняв глаза, я увидел стоящего на дорожке, прямо передо мной, розового фламинго. Он появился незаметно, тихо, как дух, верно, вышел из камыша, разросшегося по берегам водоема. Стоял на своих длинных и тонких, как былинки, ногах и смотрел на меня. Я протянул ему ладонь, пустую, мне нечего было ему дать, и, кажется, улыбнулся. Фламинго отступил на шаг, но не ушел. Возможно, он и не просил ничего, только хотел поздороваться? Когда я поднялся со скамейки, собираясь уйти, фламинго остался стоять там же, посреди дорожки, смотрел, но с места не двигался.

Я шел по дорожке среди удивительной, наполовину привычной, наполовину экзотической растительности, вдоль шпалеры красных, с стриженной кроной в форме геометрических фигур буков, мимо кедров и вязов, стройных,

серебристых, будто припорошенных снегом, канадских елей и берез с нежными, гибкими ветками и светло-зелеными листочками. В близком соседстве росли деревья Средиземноморья и дальнего севера, альпийские лужайки расположились под пальмами. Нередко потом я возвращался в мыслях к тому пустяковому событию – встрече с фламинго, который, не обладая особо интересными свойствами, служит неперменным ярким украшением любого уважающего себя зоопарка, не более того; я вспоминал эту встречу, потому что за ней последовали события более важные. Возможно – и даже наверняка, – не будь той встречи с фламинго, я бы не стал свидетелем одной поразительной сцены и не увидел бы того, что и является темой этого рассказа. Короче, фламинго дал толчок некому несложному мыслительному процессу, и в итоге я изменил маршрут осмотра зоопарка. Размышляя я приблизительно так: фламинго покинул свою стаю, что довольно странно. Должно быть, это какая-нибудь нетипичная особь, с отклонениями от обычных норм поведения, либо птица когда-то болела или была ранена и ее лечили изолированно от других, отчего она приобрела новые условные рефлексy, что и заставляло ее надеяться больше на человека, чем на стаю, рассчитывать на особенно вкусный или внушительный кусок. А может быть, фламинго был чьим-то любимцем, и его покровитель появлялся здесь именно в это время, приходил сюда его кормить? Следующей моей мыслью было: но ведь посетителям запрещено кормить животных, об этом предупреждают таблички, и в справочнике так написано. И затем: я ни разу не видел, как звери в этом зоопарке едят. Может, стоило бы посмотреть? В проспекте было указано официальное время, когда животные получают корм: 9–10 – обезьяны; 10–11 – кошачьи, то есть львы, тигры, пумы; 11–12 – крокодилы, аллигаторы, прочие земноводные и рептилии, а также рыбы. Поначалу я собирался осматривать зоопарк в соответствии с систематикой животного мира в природе. Впрочем, чаще всего именно так я и поступал – сказывалась привычка старого натуралиста. Потому и сегодня предполагал начать с аквариума, с беспозвоночных, разнообразных красочных и диковинных кишечнорастворимых: губок, кораллов – фантастических, бесформенных; кажется, все они – игра случая или каприз природы, или ее декоративный материал, украшение морского дна. Ковры, букеты, праздничное убранство подводных салонов, пещер и гротов. А уж потом, на их фоне, я начну рассматривать рыб самых причудливых форм, являющихся уже созданиями организованными, – и так, постепенно, я увижу всё: от змей, ящериц, крокодилов, рыб и птиц до животных, нам близких, которые перестали быть невольниками окружающей среды, игрушкой сил природы,

которые уже кое-что чувствуют и понимают. В этом путешествии мне пригодятся знания, полученные в одном очень хорошем польском университете, и всё то, что я узнал из книг. Я лишний раз смогу убедиться в том, что примитивная вакуоля, пульсирующая внутри прозрачной клетки простейшего организма, когда-то станет настоящим сердцем, а одиночный нервный узел – мозгом. И что тела и органы, в них сокрытые, сделаются более совершенны, движения животных осмысленнее, действия сложнее, а жизнь богаче.

Взглянув на часы, я обнаружил, что сейчас как раз половина десятого. Через минуту посмотрел еще раз и сообразил, что если я начну осмотр, как запланировал вначале, с аквариума, то вообще не увижу, как животные едят, поскольку до обезьян доберусь лишь к полудню, а кормить рыб и крокодилов еще не настанет время. То есть выбрав путь, соответствующий систематике животного мира, я потеряю возможность увидеть то, что не так часто случается наблюдать в зоопарках, а именно: как животные едят, выхватывают друг у друга куски, привередничают, кормят детенышей. А потому я повернул направо – и самое существенное, ради чего написан рассказ, только сейчас и начинается. Написанное мною до сих пор не так уж и обязательно. Я всегда придерживался мнения, что необязательные места не безвредны для всего остального: они затемняют, разрушают главное. Но зачем тогда я все это написал? Хотя обычно я с легкостью черкаю свой текст, не знаю сам, что не позволяет мне сейчас поднять руку на эти строки. В общем, в виде исключения оставим все необязательное, будем считать, что рассказ начинается только здесь.

Я пошел направо по дорожке мимо круглого газона, обсаженного цветущими кустами желтых роз, и между коричневато-серыми стволами каштанов увидел обезьяний городок: белые стены павильонов, зарешеченные вольеры, культияпы, безлистные стволы деревьев, миниатюрные подоби́я скал. Посреди всего этого возвышалось внушительных размеров, недавно построенное здание, предназначенное для горилл. Здешний зоосад гордился своими едва ли не лучшими в мире достижениями в их разведении. Самой высокой рождаемостью и самой низкой смертностью. Благодаря новой системе питания и современным методам лечения, крохотные, но зловредные бактерии, вызывающие воспаление легких, перестали валить с ног двухсоткилограммовых самцов, самки перестали преждевременно рожать мертвых малюток, а их потомство избавилось от рахита и не умирало от поноса. Обезьяны росли здоровыми и крепкими, и можно было надеяться, что доживут до преклонных лет. Один журналист, с

которым я беседовал два или три дня назад, рассказывал мне, что у научных сотрудников, курирующих этот зоосад, есть и другие далеко идущие, смелые планы. Результаты изучения психологических особенностей наших ближайших родственников (так он них назвал) держатся пока в тайне, но должны вызвать сенсацию. Мой собеседник, конечно, не был биологом и имел весьма смутное представление об этой науке. Думаю, он хотел лишь

убедить меня посетить зоопарк, являющийся достопримечательностью города, и рассказывал подобные истории каждому иностранцу. В моем случае необходимости в этом не было, поскольку я и без его уговоров пришел бы сюда днем раньше или позже.

Я еще присел ненадолго на скамейку, уже неподалеку от жилища горилл, чтобы, прежде чем туда войти, выкурить последнюю сигарету, и стал рассматривать сооруженные под открытым небом из камней, скрепленных цементом, искусственные скалы Гибралтара, среди которых обитали последние обезьяны Европы. Павильоны, разбросанные между деревьями и живыми изгородями, заселяло множество обезьян, больших и маленьких, разной породы, наших близких и дальних родственников. Некоторые были нам столь далекой родней, что больше походили на медведей, рысей, ласок и даже крыс, чем на обезьян. Но внешность обманчива. Анатомия, морфология и физиология предоставили нам сведения об обезьянах, не позволяющие причислить их к медвежатам, кошкам или грызунам. Я докуривал сигарету, размышляя о всяких таких вещах, а вернее, позволив своему воображению легко и непринужденно выстраивать цепочки ассоциаций – как вдруг я увидел поблизости от себя два больших автомобиля, черный и белый, резко затормозившие у входа в павильон с гориллами. Это были, по-видимому, служебные машины, потому что подъехали они от ворот по главной аллее, где движение транспорта было запрещено. Из машин вышли мужчины, один в белом халате, и торопливо вошли в павильон. Я не совсем точно это описал, на самом деле всё происходило следующим образом: от группки приехавших отделился и направился вперед седой пожилой мужчина в охотничьих сапогах на толстой подошве, в клетчатом пиджаке и вязаной шапочке; он вошел первым, а уж за ним – человек в белом халате и все остальные. Я подробно останавливаюсь на деталях лишь потому, что в этой короткой сценке, в автоматизме движений, соблюдении некоего – пускай скомканного и торопливого – ритуала у входа было что-то, заставившее меня немедленно встать и последовать вслед за входящими в

павильон. Когда я был уже у дверей, меня обогнал человек в форме – то ли сторож, то ли пожарник. Он запыхался, должно быть, бежал. Сейчас он замедлил шаг, но на пороге, довольно резко оттолкнул меня локтем, заставив посторониться. Была, видимо, какая-то важная причина, объясняющая его таинственную поспешность. Что-то там, внутри здания, происходило или уже произошло. Только вот что? Несчастный случай, преступление, похищение? В напряженном драматизме момента было что-то загадочное, как в кинохронике, и предвещавшее продолжение развития событий, в ходе которых, вероятно, всё прояснится: мы увидим, как вынесут кого-нибудь, тяжело раненного или мертвого, выведут преступника. В свете вспышек на долю секунды появится преступник в наручниках, которого выведут под руки полицейские, крупным планом выплывет его лицо, хмурое или с глуповатой ухмылкой, или пустое, ничего не выражающее. Мы станем свидетелями одного из тех зрелищ, на которые не скупится наша действительность. Очередного мига изумления и ужаса, вызванного чем-то страшным и бессмысленным, что снова произошло с нами, людьми.

Однако, войдя в помещение, я в первый момент почувствовал некоторое разочарование – там ничего не происходило. Тишина, полумрак, только за бронированным, большим и длинным, как экран в панорамном кинотеатре, стеклом, замыкающим жилую часть обезьяника, было светло. Немногочисленные посетители стояли группками и смотрели на обезьян. Некоторых вообще не интересовали животные. Они изучали развешанные по стенам таблицы, на которых были отмечены места обитания обезьян на обоих полушариях. Фигурки обезьян были изображены на фоне скал, на берегах рек, на ветвях раскидистых деревьев. И хотя земля, деревья, скалы и животные были показаны схематически, тем не менее складывалось общее представление о внешнем виде и среде обитания обезьян. Мужчины, которые минуту назад вышли из машин и так поспешно сюда проследовали, стояли в сторонке и мирно беседовали, сейчас они даже не разговаривали, а слушали, что им говорил пожилой господин в охотничьих сапогах и спортивной шапочке. Один – который был в белом халате – что-то старательно записывал в блокнот. Всё было спокойно, ничего не происходило. А может, уже всё кончилось? Преступление совершено, труп вынесен, кровь смыта, преступник схвачен? Мне понадобилось еще несколько секунд, чтобы понять, что произошло. То, что произошло – еще продолжалось. На фоне белых, выложенных кафельной плиткой стен, резко выделялись огромные, грузные тела горилл, застывшие в полной неподвижности. Выглядело это

так, словно за стеклом находились не живые звери, а лишь увеличенные до небывалых размеров их моментальные фотоснимки. Картина была четкой, ясной, но неподвижной. Казалось, остановлено и запечатлено короткое мгновение, и оно навсегда сохранится таким, поскольку ничего в нем изменить уже невозможно. Однако в этой сцене не было ничего хаотического или случайного, она, точно пантомима или живая картина, имела некую композицию, свою драматическую концепцию. Как будто животные, прежде чем застыть в каталептическом оцепенении, заняли предусмотренные сценарием места и приняли соответствующие позы. Совершенно неподвижные? Простите, не совсем так. Моя память все же зафиксировала едва заметное движение – словно на фотографии одно место получилось нечетким, немного смазанным из-за того, что кто-то шевельнулся во время съемки. В какое-то мгновение сидящий на руках у своей мамы-гориллы малыш повернул голову, чтобы взглянуть на нас, людей, но рука матери тут же заслонила, прикрыла ему глаза и повернула его лицом к стене. Это был единственный момент, когда в картине что-то шелохнулось, дрогнуло, а потом всё снова стало прежним: мертвой картиной, как в стереоскопе, массовой сценой в финале спектакля, безликой неподвижностью солдат, отдыхающих после боя, кошмарной оцепенелостью музея восковых фигур, – не знаю, как бы это назвать и с чем бы сравнить... Было одновременно в этой сцене и что-то патетическое – но ведь животным не присуще ничто возвышенное, эту категорию человек придумал для себя. Тела, окаменевшие, как изваяния. Тела, припавшие к гладким стенам в позах мучительного самоистязания. Дети, замершие в объятиях матерей. Головы, подпертые руками. Глаза, открытые, но не глядящие на нас, людей, а уставившиеся на какую-то трещину в стене, на пятно или же в пустоту. Конечности, застывшие без движения. Руки, согнутые в запястьях, бессильно повисшие, выражающие беспомощность, безнадежность. Кто это? Приговоренные к смерти несчастные, которые, выслушав приговор, ждут, когда он будет приведен в исполнение, потому что надежды на помилование у них нет? Ах, да, еще одна деталь, возможно, и не очень важная: корм, который им принесли, видимо, минуту назад, остался нетронутым. Белые пластиковые тазы полны были салата, моркови, бананов, апельсинов, орехов. Коллективная демонстрация, акт протеста – но против кого или чего? Я стоял и смотрел. Не знаю, сколько это продолжалось. Очень долго или очень коротко. То мне кажется, что с момента, когда я увидел эту сцену, до минуты, когда я покинул павильон, прошло бесконечно много времени, а иногда, что – считанные секунды. А голос из мегафона, призывающий посетителей покинуть

павильон, прозвучал сразу же, как я вошел, или спустя много-много времени? Просьба покинуть павильон была затем повторена по-английски и по-французски и весьма категорическим тоном, все стали выходить, вышел и я. Отойдя на пару шагов, я услышал, как позади со скрипом повернулся ключ в замке и лязгнула задвигаемая решетка. Я обернулся: это закрывали за нами входные двери. По правде сказать, если перевести на механическое время, то есть время, которое отмеряют часы, мое пребывание в павильоне продолжалось не более двух-трех минут.

Я шел по аллее обезьянего питомника, приостанавливаясь возле клеток и вольеров, разглядывая обезьян родом из Африки, Азии и Америки. Коренастые, неуклюжие и грациозные. Хвостатые и без хвостов. Самой разной масти: коричневые и серые, белые, палевые, серебристые. Они находились в непрерывном движении, заставляя непрерывно работать свои мышцы: перебегали с места на место, прыгали, гримасничали, любовались собой и призывали любоваться ими людей. Они были безошибочно точны в движениях и гениально изобретательны в прыжках, пируэтах и увертках, но из-за рассеянности и постоянной внутренней несобранности забывали о том, что делали минуту назад. Сбивались с толку и роняли предметы. Теряли логическую нить, чтобы через минуту ее найти – и тут же вновь потерять. Минуты раздумья – у них они тоже случались – были чересчур коротки, чтобы какая-то мысль завладела ими всерьез. Пространство, в котором перемещались животные, было огорожено стенами, решетками, рвами с водой, то есть, свобода движения в силу обстоятельств была ограничена. Все комбинации их движений были давно уже исчерпаны и теперь могли лишь повторяться, как движения заключенного в камере, как прыжки птицы в клетке, как кружение рыбы в банке. Меня утомила их суетливость, от которой кругом шла голова. Их неразумность, бесстыдный публичный эротизм. Мне всё это надоело, я не хотел больше на это смотреть.

Я покинул этих беззаботных бедных зверьков, которые свыклись с неволей и против нее уже не бунтовали. Отсутствие памяти и воображения облегчил им процесс приспособления. Я вернулся к павильону с гориллами. Вход был загорожен решеткой, на ней повесили табличку с надписью: "Закрывается". Люди останавливались, читали объявление и, ознакомившись с его содержанием, шли дальше. Но мне было известно то, что скрывалось за этой надписью. Я остановился, приложил ладони к глазам – и мне удалось через решетку и толстое двойное стекло еще раз увидеть эту потрясающую сцену. Обезьяны

оставались в тех же позах: тела, застывшие в бездействии, в оцепенении. Ничто не изменилось в этой сцене, только картина стала меньше, как будто я смотрел на нее в перевернутый бинокль или совсем издалека.

Я так и не знаю, что там стряслось. Никто не смог мне дать убедительного объяснения. Один мой знакомый, профессор, занимающийся физиологией позвоночных, назвал это явление ступором, но признался, что неизвестно, может ли в мире животных коллективный бунт проявляться в такой форме. На мой вопрос: неизвестно – или почти неизвестно?, профессор ответил не очень уверенно: "Пока, кажется, неизвестно". Другой мой знакомый, биохимик, высказал мнение, что это мог быть результат передозировки каких-нибудь лекарств – нейролептиков, гормональных препаратов или даже антибиотиков. Однако оба вынуждены были согласиться с тем, что эти крупные приматы, как их называют в зоологии, – сложные животные, что в своем развитии они очень далеко ушли от дождевого червя и ящерицы, и что можно предполагать наличие у них психики, а значит и психических заболеваний. К черту тех, кто всякое отклонение от нормы считает исключительно проявлением патологии! Почему бы просто не признать, что однажды, возможно, в то самое обычное спокойное утро, в медленном, незаметном развитии этих животных произошел скачок, который превратил их в существа мыслящие, чувствующие, осознавшие свою участь, глубоко несчастные? Что в них словно вдохнули душу – и они почувствовали, что жить в неволе им больше не вмоготу. Им уже не хотелось кричать, валяться, дергать решетку и грызть железо – они решили, что отныне будут молчанием и бездействием протестовать против комфортной подневольной жизни, которую устроил им человек. Что они не желают больше жить в тюрьме, выложенной белым кафелем, в тюрьме, столь же чистой, сверкающей и гигиеничной, как приемный покой в туберкулезной больнице Осло или туалет в аэропорту Франкfurта-на-Майне. Не желают, чтобы их насильно избавляли от страхов, неудобств, страданий. Они хотят темной тропической ночью, прижавшись друг к другу на ветвях высокого дерева, дрожать от страха, услышав рычание вышедшего на охоту хищного зверя. Хотят оплакивать смерть своих детей и братьев. Зализывать свои раны, останавливать кровотечение, приложив к ране большой лист баобаба. Хотят путешествовать, кочевать вместе с детьми с места на место, знакомиться с неведомыми краями, с радостью узнавать места, в которых уже бывали. Они хотят голодать и наесться досыта. Переживать песчаные бури и тропические ливни. Победы и поражения.

Перевод Ольги Катречко

СВЕТ И ЗВУК, ИЛИ О НЕСОВЕРШЕНСТВЕ МИРА

Не знаю, откуда я взялся. Из ночи, тумана, забвения? Из таинственных шорохов, неясных, расплывчатых картин, незнакомых запахов? Не знаю – мне было и так хорошо, и ни думать, ни вспоминать ни о чем не хотелось, хотя минул мне уже, кажется, четвертый год. Я был, и все тут. Укладывался спать, вставал, пил молоко и ел хлеб из кукурузной муки. Одевался, подходил к окну и смотрел во двор. Видел все, что происходило вокруг, слышал человеческую речь, лай собак и пение птиц.

В то время мой отец еще не вернулся с войны, мы жили втроем, с матерью и бабушкой, лишь изредка к нам заходил хромой и лысый, зато в большой соломенной шляпе, пан Добруцкий, который был учителем, хотя не учил ни в какой школе, а только ловил рыбу. Пан Добруцкий, направляясь – чаще всего днем – на рыбалку, останавливался около нашего дома, ставил два длинных белых удилища так, что они опирались о крышу и были видны из окна, заходил к нам и пил чай. Иногда, если выдавался хороший денек, мы с бабушкой провожали пана Добруцкого на рыбалку, но всегда только до старого дуба, который рос прямо на обрыве, поэтому часть его корней висела в воздухе. Мы присаживались под дубом, пан Добруцкий закуривал, потом брал свои удочки и спускался вниз. В том месте, где рос дуб, поля кончались, обрывались внезапно, дорога сворачивала, шла под уклон и терялась в лугах, среди кустов и камыша. Мы с бабушкой смотрели, как пан Добруцкий идет через луг, мимо стада бело-рыжих коров, которые щипали траву или просто лежали. Когда пан Добруцкий проходил недалеко от них, они поворачивали вслед ему голову. Пока он пересекал луг, его было очень хорошо видно, не приходилось сомневаться, что это он. Правда, он становился все меньше, однако мы по-прежнему знали, что это пан Добруцкий. Но потом он входил в высокие травы и еще заметнее укорачивался, уже только его большая шляпа мелькала среди кустов, и наконец исчезал совсем, только иногда с того места, где он пропал, срывалась пара диких уток или целая стая более мелких птиц, которые назывались, кажется, бекасами. Описывая в воздухе круги, они поднимались все выше, постепенно уменьшаясь, пока совсем не растворялись в небе. Я

следил за птицами и видел их гораздо дольше, чем бабушка, но в конце концов и я терял их из виду. Возвращаясь с рыбалки, пан Добруцкий заходил к нам, но к этому времени я чаще всего, уже поужинав, лежал в кровати и ждал, когда в окне покажется большая золотистая луна. Пан Добруцкий оставлял нам плоскую, покрытую серебряной чешуей рыбу, называвшуюся лещ, пил чай и уходил, или я засыпал. На следующий день, если была хорошая погода, мы опять провожали пана Добруцкого, садились под дубом и смотрели, как пан Добруцкий идет, удаляется от нас, делается все меньше и исчезает. Мне ужасно хотелось пойти с ним на рыбалку, но бабушка говорила, что там очень опасно, нужно знать, куда ступать, иначе можно увязнуть в болоте и уже никогда не вернуться домой. Так что сидел я под дубом и смотрел туда, где должна была быть река, прячущаяся за кустами и камышом. Оттуда, с реки, доносилось кваканье лягушек и пение птиц; иногда поднимался ветер, и тогда их голоса были слышны еще лучше. Я разглядывал сухие листья и лежавшие на земле желуди, вблизи они были видны мне во всех подробностях, я даже различал разных червячков, насекомых – их глаза, крылышки, ножки, как они карабкаются вверх по травинке, бегут, куда-то спешат, останавливаются, поднимаются в воздух и улетают. Потом я снова смотрел на реку, над которой кружила на неподвижных крыльях большая птица. Ветер, налетавший иногда с той стороны, касался моих щек и волос, я вдыхал его удивительный запах, отдававший ароматом скошенной травы, малины на тарелке, земли, грибов, дождя, – и снова мне ужасно хотелось очутиться там, но в то же время я побаивался, что если я туда пойду, такой маленький, то совсем исчезну, и никогда меня уже не будет, а это в мои планы никак не входило. Поэтому я лишь смотрел в ту сторону или, для разнообразия, наклонялся к земле и с близкого расстояния разглядывал камни, растения, насекомых.

Однажды, когда я так сидел под дубом, а пан Добруцкий докуривал свою папиросу и вот-вот должен был уйти и исчезнуть среди трав – я пережил неожиданный острый страх. Кругом тишина и покой, небо чистое, без единого облачка, а воздух такой прозрачный, что, казалось, я видел еще дальше и лучше обычного – тут-то и произошло непонятное и ужасное. Но обо всем по порядку. Сначала я заметил, что по дороге мимо нас идет мужик и ведет на веревке корову. Корова идти не хочет, упирается, останавливается, крутит головой, вырывается и норовит боднуть хозяина. Сзади идет баба и погоняет корову длинным тонким прутом. Они миновали нас, свернули и начали спускаться к лугу, туда, где спокойно паслись коровы. Но корова, которую вели мужик и баба, совсем не была похожа на тех: намного крупнее их, лобастая, с большим

животом и огромным выменем, а самое главное, – не бело-рыжая, как они, а черно-белая. Но это бы еще ничего. Так вот, шли они себе через луг, мимо рыжих коров, которые все как одна подняли голову и уставились на новенькую, черно-белую. Мужик с бабой остановились, баба взяла конец веревки, обмотанной вокруг коровьих рогов, а мужик принялся вбивать в землю кол, колотя по нему большим деревянным молотком-киянкой. Вот тут и началось то непонятное и страшное. Хотя я был довольно далеко, но видел все совершенно ясно. Видел, как молоток поднялся и ударил в расплюснутый сверху разлохмаченный кол. Вокруг все было как всегда, но уже начиналось что-то нехорошее: я видел, как молоток ударяет по колу, касается его – но звук удара раздается гораздо позже, будто это не мужик бьет молотком, а кто-то другой, невидимый. Привидение?! Я огляделся по сторонам, даже на бабушку посмотрел. Пан Добруцкий еще не ушел, объяснял моей бабушке, что сегодня клева не будет, погода меняется; потом они заговорили о священнике, у которого пан Добруцкий жил. Беседовали спокойно, ничего не замечая. А там, на лугу, дело приняло совсем скверный оборот: теперь сначала слышался удар, а потом только мужик бил молотком по колу! Творилось нечто страшное, что-то сломалось, распалось, рассыпалось – у меня в голове, ушах, глазах? Или вообще на свете? Чуть не плача, я выдавил:

– Что они делают?

Бабушка взглянула на меня и спросила:

– Кто? Где?

Теперь я был уже уверен, что это не мои глаза и уши испортились, а в окружающем мире – в воздухе и на земле – что-то не так. Кол уже почти до половины вошел в землю, а мужик все бил по нему большим ватным молотком. И, по-прежнему с опозданием, доносился – неизвестно откуда – звук удара. Я показал пальцем и сказал громко:

– Этот человек бьет молотком, но когда ударяет, не слышно!

– Как это не слышно? Что с тобой? – бабушка смотрела на меня встревоженно. Смотрел на меня и пан Добруцкий.

– Слышно, но это не он ударяет, а кто-то другой! – крикнул я в отчаянии.

Пан Добруцкий обернулся на мужика, вбивающего кол, потом рассмеялся и сказал:

- Звук опаздывает. И правда, забавно. Мир несовершенен...
- Да, да, – припомнила бабушка, – вот когда молотят цепами, или когда паровоз свистит...
- Совершенно верно. Ну, мне пора. А рыбы сегодня не ждите. Целую ручки, сударыня! До свидания, маленький Архимед, вернее, Пифагор!
- До свидания, загляните к нам просто так, без рыбы.
- До свидания, – сказал я.

Пан Добруцкий взял свои белые удочки, осторожно спустился по косоугору и стал удаляться, постепенно делаясь все меньше. Вокруг снова стало тихо и спокойно. Мужик больше не бил по колу, а привязал к нему корову, потом они с бабой немного постояли, глядя на нее. Но эта корова, черно-белая, не хотела есть траву, а все смотрела на других, которые свободно ходили по лугу от нее поодаль. Бабушка сказала, что нечего тут торчать, и мы пошли домой. Я не сопротивлялся, и послушно шагнул рядом, примолкнув, так что бабушка даже забеспокоилась, потрогала ладонью мой лоб и спросила, чего это я сам не свой, уж не заболел ли? А я вовсе не был не свой и не заболел, просто мне было грустно, и мысли разные одолели.

На следующий день лил дождь, и еще несколько дней, поэтому мы не провожали пана Добруцкого на рыбалку, а когда прояснилось, появился пан Добруцкий, без удочек, и сказал, что с утра слышна артиллерия. Я тогда спросил, а видна ли эта артиллерия, но бабушка, невесело рассмеявшись, заметила, что еще не хватало, чтобы была видна. Если б она была видна, то было бы уже поздно. На другой день утром, уж не знаю как, я вместе с матерью, бабушкой и паном Добруцким очутился на телеге с нашими чемоданами и белой плетеной корзиной пана Добруцкого, но без его удочек. Наверное, они остались у реки. Ехали мы, кажется, к тете Казе на запад. Сначала прибыли на станцию, где уже стоял очень длинный поезд, а вокруг него – толпа людей. Бабушке и маме как-то удалось влезть в вагон, меня просунули через окно, а потом пан Добруцкий подавал, тоже через окно, наши вещи. Бабушку усадили, я должен был сесть к ней на колени, а мама – стоять рядом, но мне хотелось смотреть в окно. Люди бегали вдоль поезда, подпрыгивали, заглядывая в окна вагонов, кричали, размахивали руками. Один еврей в лохмотьях, подпоясанный веревкой, смеялся, пел и гримасничал. Безобразный, грязный, заросший, сквозь прорехи голое тело просвечивает, из уголков рта течет слюна. Я отвернулся и стал смотреть на черный локомотив с большой

трубой, откуда валил дым. Поезд был очень длинный, а путь изогнут дугой, поэтому локомотив был хорошо виден. Вдруг я заметил, как с его крыши сильно бьет вверх белая струя пара, отрывается от черного локомотива – и только потом я услышал громкий свист. Люди принялись кричать еще громче, бабушка схватила меня сзади за помочи, чтобы не выпал из окна, и тоже кричала, что пан Добруцкий куда-то пропал, но моя мама сказала, что ему удалось пробиться и сейчас он стоит на площадке. Снова раздался свисток, а через мгновение белое облачко выскочило из локомотива и взлетело вверх, потом еще одно, и еще.

– Шапку держи! – крикнула бабушка.

Я придержал рукой свою бескозырку с ленточками и почувствовал, что мы едем. Люди на перроне стояли, кричали, махали руками и платками. Безобразный, весь в грязи, еврей плакал. Все эти люди на станции, стоя на месте, двигались назад. Мы ехали вперед.

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа, едем, – сказала моя бабушка. Я высунулся и увидел еще несколько белых облачков, отделяющихся от локомотива, но свистков уже не было слышно. Поэтому я уселся к бабушке на колени, откуда тоже было хорошо видно, и сказал:

– Мир несовершенен.

Конечно, скорее всего, я просто хотел сказать, мол, вот он какой – этот мир или что-то в этом роде, а не то, что он несовершенен, но дама, сидевшая напротив нас, услышала мои слова и воскликнула:

– Боже правый, что этот ребенок несет?!

– Что ты сказал? – спросила бабушка.

– Ничего.

– Он первый раз едет на поезде, – сказала моя бабушка даме, которая сидела напротив.

Я взглянул на нее: розовое лицо, голубые удивленные глаза, на голове большая соломенная шляпа с двумя красными вишенками, но не настоящими, а из чего-то сделанными. Я отвернулся и стал смотреть в окно. Я сидел неподвижно, а за окном мелькали всё новые картины, сменяя одна другую. Я огляделся: все, как и я, сидели или стояли неподвижно, только какой-то господин хотел попасть в другой конец вагона и очень

медленно проталкивался сквозь толпу людей, теснившихся в проходе. Я снова стал смотреть в окно: дома, поля, луга, леса – убегали назад, возвращаясь туда, откуда мы отправились в путь.

Перевод Марины Курганской

Корнель Филипович

* * *

Между весной и осенью
Предчувствием и свершением
Мыслью и формой
Вопросом и ответом
Словом и вещью
Вспышкой и громом
И даже страницей и страницей
Травинкой и травинкой
Предрассветной мглой и рассветом
Минутой которая прошла и той что
еще длится
В нас и вне нас
Всюду
Притаилось что-то особенное
Нечаянное нежданное и
непонятное
Что-то неуловимое
Может быть просто иллюзия
А может предвосхищение
Небытия или вечности
Конца или начала
Это что-то настолько тонкое
крохотное воздушное
Абсолютно прозрачное

Что как будто и не существует
Ничему не мешает
Ни в чем не препятствует
Пока вдруг
Не захватывает нас целиком
Обещанием
Чего-то великого и неизбежного
Пронзительного и небывалого
Но мы так и не знаем что это
Предвидение или фантазия
Бред или предупреждение
Нам угрожают или стремятся
помочь
Хотят погубить или спасти
Растерянные неопытные
несовершенные
Мы отвечаем
То криком то молчанием
То проклятием то молитвой
То стопочкой водки то глотком
родниковой воды

Перевел Дмитрий Веденяпин